

Юлий Герцман

ИЗБРАННОЕ



Юлий Герцман

ИЗБРАННОЕ



БОСТОН • 2018 • BOSTON

Юлий Герцман *Избранное*
Yuliy Gertsman *Selected Works*
(Izbrannoye)

Copyright © 2018 by Yuliy Gertsman

Copyright © 2018 by Elina Gertsman, compilation and editing

Copyright © 2018 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder(s) except for the brief quotations in a book review.

ISBN 978-1-940220826

Library of Congress Control Number: 2018936862

Published by M•GRAPHICS, BOSTON, MA

📄 www.mgraphics-publishing.com

✉ info@mgraphics-publishing.com
mgraphics.books@gmail.com

Портрет автора на обложке: Dusia Ochakovsky.

Модуль переносов русского языка **ВaH™**: И. В. Батов (www.batov.ru)

Отпечатано в США

ПРЕДИСЛОВИЕ

«И збранное» — третья по счёту книга Юлия Герцмана — экономиста, юмориста, автора 16-й полосы «Литератулки», «Недели», многих передач Центрального советского телевидения и радио. Первая его книжка, «Подставьте, пожалуйста, кумпол», вышедшая в эстонском издательстве Eesti Raamat в 1989 году, включает в себя юмористические рассказы: и пародии на литературную критику, и насмешливое воспроизведение эпистолярных усилий рабоче-крестьянского элемента, и юморески о непосредственных жизненных обстоятельствах. Большинство написано от первого лица; в некоторых, имя автора — книга была выпущена под псевдонимом Юлий Ринч — фигурирует на многих страницах.

Вторая книга, «Повесть о нестоящем человеке» (слово «нестоящем» написано через «а» и исправлено на «е», как будто от руки — игра на названии произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»), была издана в Москве, в 2013 году. Она содержит шесть рассказов — написанных всё с тем же неподражаемым юмором, но уже гораздо более серьёзных, с более ясными элементами настоящих воспоминаний. Рассказ «Полёт Шмуля», о поездке в Ташкент, в гости к родителям, охватывает целый ряд мучительно-курьёзных сцен — в Куйбышеве, в Челябинске, на ташкентском Алайском базаре — где автор, по настоящему сослуживца, пытается продать привезённых из Таллина спрессованных кур. Контраст между этим сослуживцем («Чем он занимался, не знал никто, он... просто приходил на работу во всём кожано-импортном, благоухающе-элегантном, рассказывал пару историй, в которых фигурировали неуставные отношения полов») и интеллигентной семьёй главного героя одновременно и комичен, и непереносим — и на таких контрастах часто строятся и другие расска-

зы. Последний, названный «Возьми из рук их», читается сквозь слёзы. От поднемецкой Литвы, где жители города Саласпилса подсыпали еврейским детям отраву в простоквашу, до провинциального русскоязычного Сан Диего девяностых годов, до фантазмагорического то ли ада, то ли рая — невысказанные контрасты, выстроенные в главы, не отпускают читателя до самых последних страниц.

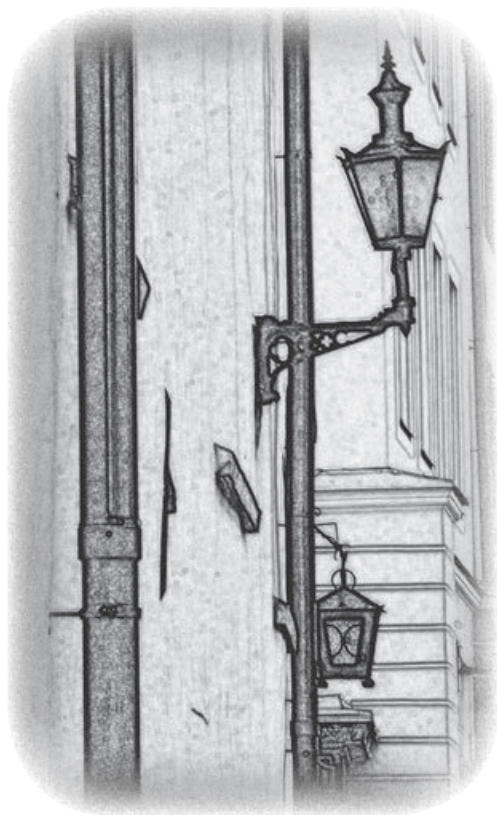
Этому, третьему, сборнику присуща та же смесь остроумия и глубины, тяжести и сарказма. «Гербарий» — о жизни Леонида Серебренника, удачливого неудачника, инженера, писателя и кооператора — повесть, которая начинается и заканчивается в украинском селе Фугары, но следует за главным персонажем в Одессу, в Ленинград, в Ригу, в Иерусалим, через два развалившихся брака, через несостоявшиеся дружбы, через разломанные и перекроенные семьи. Перипетии еврейских судеб, от Львова до Парижа, прослежены в «Сахарнице»; в свою очередь, эхо «Сахарницы» и «Гербария» слышно в остром и горьком «Ой»; а рассказы о Москве брежневских лет и о Москве уже постсоветской плетутся вокруг огромной, занесённой в книгу рекордов Гиннеса гостиницы в «Постоялом дворце». Читателя так же ждут воспоминания о студенческой Риге шестидесятых годов, о колоритном летнем Сухуми восьмидесятых, о яркой Венеции двухтысячных. А в конце — научно-шутливая кода: «Полевой определитель ашкеназских евреев».

Помимо блестящего чувства юмора, помноженного на самоиронию (что не в последнюю очередь есть признак неординарности их обладателя), автору от рождения был дан блестящий аналитический ум — в этом читатель сборника убедится, перелистнув первые же его страницы. Но наши судьбы естественно складываются и из собственных способностей, дарованных природой, и из стремления их реализовать в полной мере — и это уже обретаемое. Так, самим Юлием были «добыты» его энциклопедические знания, сделавшие автора непрекаемым авторитетом в учёном мире экономистов. Но и не только это: Юлий великолепно знал отечественную и мировую литературу, и его разговоры с друзьями, бывало, побуждали

многих, образно выражаясь, почтительно «снять перед ним шляпу». И всё это — помноженное на его дружелюбие и неисчерпаемую энергию. Счастье, когда такое сочетание природного таланта и реализации своих способностей делает наш мир хоть на йоту лучше, совершеннее, добрее.

Эта книга не должна была стать последней. Чудовищная несправедливость, когда человек уходит, не выполнив и доли своего предназначения — и это в полной мере относится к Юлию Герцману, наиталантливейшему человеку, чей сборник Вы, читатель, держите сейчас в своих руках.

*Элина Герцман
Александр Половец*



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ГЕРБАРИЙ

I

Листочек из арифметической тетради с напечатанными полями и криво оборванным левым краем выглядел даже трогательно.

— Читательница, небось, из провинции, учительница, — лениво подумал Серебреник, — или ребёнок учится. Сейчас изо льётся...

Первые же слова письма, однако, заставили его поморщиться. Там было: «Дорогой Друг и Соученик Лёдик Серебреник!»

Серебреник уже много лет не был Лёдиком. Как уехал из Фугар. Он и родителей упросил называть его Лёней и они, спотыкаясь, на пятом где-то году смирились. Сестричка с детства называла его Лёкой, и имя это ему нравилось, институтские друзья — Лёшей, а Лёдик, казалось, умер и похоронен на малой родине. И вот, надо же, ожил.

«Тридцать три года прошло, как отцвела та сирень, что украшала наш выпускной вечер! Мы ушли в большую жизнь, каждый своим путём! — разбирал Серебреник мелкую вязь, пулемётно перебиваемую восклицательными знаками. — Ты стал писателем, Володя Киторага — майором, я — педагог младших классов нашей родной Средней школы № 1, которую ты закончил с золотой медалью. И вот мы решили собраться вместе, поговорить за светлые годы нашей школьной юности, помянуть дорогих учителей и поделиться друг с другом, что ему дал наш замечательный посёлок городского типа Фугары. Мы соберёмся 30 мая в школе и пойдём к Кате Бережко (Нагорной) домой, где погуляем встречу. Очень ждём, что ты сможешь быть. Напиши. Мила Пасюк (Задорожная)».

Село Фугары, где без малого пятьдесят лет назад начался жизненный путь Леонида Михайловича, примостилось на правом берегу неотвратимо прорастающей камышом речушки Кодыма. Хотя «примостилось», пожалуй, не то слово: село было по деревенским понятиям очень даже большим — около десяти тысяч жителей. Как и везде на юге Украины, коренная нация в нём мешалась с молдаванами, евреями, греками, болгарами, цыганами, и две грузинские семьи, неведомо как очутившись там, прижились, враждуя с единственной армянской семьёй. Даже само имя — Фугары — было пришлым, «фугар» по-румынски: беглец, видимо, какой-то молдаванин от кого-то смылся и осел в дикой степи, положив начало будущему райцентру. То есть, он основал сельцо, а потом оно, разрастаясь, поглотило и близлежащее еврейское местечко Шлемовку, и три казацких хутора, и греческие выселки.

Цыгане объявились здесь, когда вышло постановление о пресечении кочевой жизни, и пригнаны были пять семей, которых за государственные деньги купили полуразвалившиеся мазанки.

Болгары выращивали помидоры, молдавانه — кукурузу, цыгане — детей.

Вот русские как-то не светились. Несмотря на национальную открытость, Фугары кацапов не привечали. Те либо быстро овладевали псевдоукраинским суржиком и, ассимилировавшись, гундосили по пьяни: «Выйды коханая, працёю зморэна хоч на хвылыночку в хай», вызывая при этом смешки широкого казацтва неумением внятно произнести фрикативное «г», поскольку сваливались в родственное «х», либо же, не влившись в народ, быстро исчезали.

Домашний язык невидимо разделял и евреев. Местные, вышедшие из Шлемовки, русского не знали и разговаривали на смеси идиша и украинского, привозные общались на «городском» русском. Привозными пополнялась местная интеллигенция, состоявшая из аптекаря, начальника почты, учителей, врачей и адвоката Сайковича. Коренные же не отходили от крестьянства: работали в колхозе возчиками, скотниками,

перелопачивали пшеницу на элеваторе, и даже официальным сельским пьяницей был жестянщик Абраша Гитерман. По праздникам село гудело вовсю — с воплями, с поножовщиной, с подпаливанием сараев, но по будням пил только Абраша. Однажды Лёня встретил его, идущего зигзагами, с болтающейся головой, слюняво бормочущего: «Их арбитен, ****, финиф ун цвонцик юр» — и не сумел увернуться. Они столкнулись. Абраша, подняв налитые кровью глаза, заорал страшно: «Партызанщина! Нэ бачыш, суча кров, куды пивзеш!» Потом что-то у него в голове перекрутилось и он, дохнув кошмарным свекольным перегаром, вдруг погладил мальчика по голове: «Та цэ ж мий нэбиж! Иды, хлопчык, иды, нэ бийся свого дядька!» Задыхаясь одновременно от страха и от счастья, что Гитерман спьяну перепутал его с каким-то своим племянником, мальчик удрал. Торговых же евреев в селе не существовало вовсе, если не считать таковым старика Мишбейна, принимавшего металлолом в обмен на дефицитные нитки и цветные карандаши.

Тяги у половин друг к другу не было, и когда — ещё в первом классе — учительница попыталась посадить за одну парту Ицика Крейчмана с Фирой Сайкович, последняя ударилась в дикий рёв и с ненавистью глядя на нежеланного соседа, вопила: «Он воняет! Я не буду! Я не хочу!» От Ицика действительно подванивало: его мама держала свиней на продажу и корову, но и с отсаженной Фирой никто сидеть не хотел: была она уродливой девочкой с оглушительно мерзким характером. Так до седьмого класса и просидела одна, а потом семья уехала — Сайкович за большие деньги взялся защищать штундистов, которым вменялся теоретический отказ служить в армии; в райкоме ему велели не рыпаться, он не послушался, проиграл, конечно, и в Фугарах для него жизни не было.

Коренная нация была траченной: в смуглых лицах находила место и лёгкая раскосость, и горбоносость, и нежданная для славян отточенность черт. Язык использовался такой, что не только полтавчане, говорившие на литературном эталоне, но даже западэнцы, корёжившие мову вуйками и взёном, зака-

тывали глаза, услышав: «Будемо сийчас обидать. Сичне мясо в пятницу купыл».

Вот сюда-то в 1947 году распределилась после окончания Одесского медицинского института молодая пара Серебренников. Будучи отличниками, они могли претендовать на места в аспирантуре, но как-то получилось, что предложили только Фугары. Здесь у них осенью родился сын Сашенька, и здесь же через три месяца он умер от воспаления лёгких. Леонид появился на свет через год после смерти брата и, узнав о его кратковременном существовании, в подростковых скандалах с родителями называл себя со злобным самоуничижением — запчастью. Сестричка Сонечка, родившаяся в день запуска первого искусственного спутника Земли, вызывала в душе мальчика сложные чувства: восторг перед очаровательным существом, зависть, поскольку она-то была не запасной, и глухую неприязнь из-за необходимости нянчиться с дитятей, когда родители дежурили в больнице.

Последнее случалось часто, ибо медперсонал состоял лишь из главврача-гинеколога по фамилии Потух, четы Серебренников и фельдшера Василия Ивановича Хоцановского, бодрого старичка, которого Фугары обожали. За ним можно было послать в любое время дня и ночи и в любую погоду, и он приходил — летом в неизменной соломенной шляпе, зимой в шапке-пирожке, с палкой в руках, в старомоднейшем пенсне. Как-то невзначай выяснилось, что Василий Иванович учился в военно-фельдшерской школе вместе с будущим героем гражданской войны Щорсом. Этому не придавали особого значения, но когда в начале шестидесятых распоряжением райкома комсомола было велено присвоить пионерской дружине школы № 1 имя Щорса, на торжественный костёр пригласили Василия Ивановича. Его поставили перед строем и приняли в почётные пионеры, повязав сатиновый галстук и спев песню «Шёл отряд по берегу». Перед выступлением Хоцановский тщательно протёр стёклышки пенсне, расчесал усы и бородку и начал:

— Колечка Щорс был в нашем классе самым способным, у него был очень тонкий слух, и он слышал сердечные тоны

лучше всех. Даже — четвёртый, да... Преподаватели пророчили ему очень хорошее будущее и приглашали после войны идти дальше в университет, да...

Костёр, разведённый на райстадионе, мирно потрескивал, разливая вокруг себя благостное тепло. Пионеры переминались с ноги на ногу. На лицах директора и пионервожатой порхали лёгкие улыбки: за удачное мероприятие их ожидали благодарности.

— Да... в университет, но Колечке, — в тоне выступающего почувствовалась удручённость, — почему-то захотелось саблей махать, да... Вот он и пошёл в эту Красную армию. И погиб! — При этих словах Василий Иванович всплеснул руками. — Мне ведь Фрумочка, его вдова, в тридцать втором году сказала, что Колечке в затылок-то выстрелили... да... свои, значит, вот и домахался, а мог ведь превосходным доктором стать...

На директора было страшно смотреть: лекальные черты его лица разом приобрели плебейскую сучковатость. Он встал, протянул обе руки к Василию Ивановичу, как бы пытаясь привлечь его в объятия и задушить в них к чёртовой матери. Обезумевшая пионервожатая, предчувствуя крах карьеры, вскочила и, с ненавистью глядя на оратора, заорала дурным голосом: «Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!». Проснувшиеся пионеры радостно отсалютовали. Василий Иванович тоже поднял руку в пионерском приветствии, потом поклонился и ушёл, постукивая палочкой по мостовой — «бурковке», как её звали в селе.

Больше старого фельдшера на политмероприятия не приглашали.

Юного Серебренника Фугары не то чтобы не любили, но относились отчуждённо. Он это заметил довольно рано, в возрасте где-то десяти лет, не понимая, почему.

Ссыпались в кучку мелочи.

На христианскую Пасху, когда народ одаривал друг друга крашенками и весёленькими пасками в коросте цветного пшена, детвора сбегалась к церкви звонить в колокола. Та ещё церква была — настоящую в прах разбомбили наши, целясь

в штаб румынской дивизии, находившейся километрах в двадцати к востоку, а новую советская власть строить не разрешила. Приспособили под церкву, с благословения партии, конечно, обычную хату, в которой снесли все внутренние стены, оставив отделённой лишь бывшую спальню, где устроили алтарь. Рядом с церковью на здоровенном деревянном козле повесили четыре колокола: два маленьких и два ещё меньших. Вот туда в разрешённые дни слеталась пацанва, чтобы, под пристомом дьячка, с восторгом гонять тощим звоном воробьёв. Дождавшись очереди, Лёдик радостно вцепился в верёвки, но едва успев дважды бамкнуть, был остановлен дьячком: «Тоби нэ надо, виддай йому!» — и указал на следующего. «Почему, — удивился мальчик, — я же только взял, другие дольше...» «Нэ надо, — повторил дьячок, — ты докторський».

И ещё: на ежегодных проходах, когда всё село собиралось на кладбище, чтобы скорбно повеселиться на могилах близких, Лёдик замечал, что его старательно обносили коловом, которое, по правде, и не любил, но всё равно было обидно. Чужим он был, чужим, и ничто не могло превратить его в своего, а он так хотел.

В школе старался задобрить одноклассников дикими выходками. Бросил кусочек натрия в непроливайку, вызвав небольшой взрыв и большой скандал. В школьную выгребную яму опустил, уходя с занятий, пачку дрожжей, и наутро весь двор был залит вонючей расползающейся жижей. В шестом классе напустил во время переходного экзамена майских жуков. Тщетно — ни одна из классных группировок не хотела принимать его. Снисходили до разговоров на переменах, но после уроков одноклассники сбивались в стайки и расходились по домам, а юный Серебренник неизвестно как оказывался в одиночестве.

Дома было не лучше. Когда мальчик был маленький, родители пропадали в больнице, поручив его заботам пятнадцатилетней няньки Горпины, с которой было невыносимо скучно. Она либо ныла: «Хочу йисты», либо часами тупо смотрела в окно, хотя во дворе ничего не менялось. Через десять лет семиклассник Лёдик, терзаемый одновременно любопытством, отвраще-

нием и буйством гормонов, потерял на ней невинность. Потом целый месяц страдал: не заболел ли он той страшной болезнью, которую подсмотрел в родительской книжке, и в страхе ожидал прихода Горпины с известием о беременности. Обошлось и с тем, и с другим.

Тяга мальчика к отцу натыкалась на усталость или просто нежелание общаться. Он был отцу неинтересен, неинтересен, как и одноклассникам, как дядьку, как всем остальным. Мама, наверное, его любила, но сухая и сдержанная, никогда не ласкала его.

А потом родилась Сонечка. Любовь отца к дочери не знала предела. Теперь он вырывался домой едва случалась самая короткая возможность — Серебренники жили в десяти минутах ходьбы от больницы — и не уставал сперва гугукать, потом тешкаться, а потом с восторгом разговаривать с доченькой. Лёдик был лишним на этом празднике отцовской любви.

Оставались книги. Читать он научился в пять лет, как — не понял сам, загадочные крючки внезапно стали складываться в понятные домашние слова. Помнил первую книгу: «Что я видел» Житкова. Помнил и то, как в восторге от благоприобретения прибежал к родителям с криком: «Я умею читать! Я тоже Почемучка!» «Не мешай! — строго сказал отец. — Мы с мамой разговариваем!» Мать просто не обратила на известие внимания и глухо продолжила прерванную фразу: «...объяснительной написала, у него уже был перитонит». Мальчику понравилось красивое слово, и он стал прыгать на одной ноге, повторяя: «Пе-ри-то-нит, пери-то-нит, пе-ритонит», — пока не получил подзатыльник. Так и связались в узелок радость первого чтения, красивое слово и боль от подзатыльника. Мама после этого разговора год сидела дома, но скуки её присутствие не убавило. Детская районная библиотека находилась через дом от них, и Лёдик бегал туда за книжками. За Почемучкой последовала сага о Незнайке, далее — джентльменский набор: Дюма, Вальтер Скотт, Жюль Верн. «Войну и мир» мальчик прочёл в третьем классе, пропуская места, где не было действия, и воспринял холодно. Перечитал только уже учась в институте.

Разрядку приносили ежегодные летние поездки к бабушкам в Одессу. Готовились заранее: отец коптил кур, мама варила варенье. Строго по очереди посылались телеграмма: в один год — папиной маме, в другой — маминой. Предполагалось, что жившие в пяти минутах мелкой ходьбы бабушки: одна — на Садовой возле Соборной, другая — на Пастера угол Петра Великого, тут же поделятся радостной вестью друг с другом. Не происходило. Приятельствовавшие в другое время и почитавшие друг друга — Анна Тевельевна при простуде доверяла ставить себе банки только Берте Соломоновне, а Берта Соломоновна никогда не ходила набирать себе штапель на платье без Анны Тевельевны — на всё время гостевания детей, одинокие старухи (у Берты Соломоновны существовал где-то неразведённый муж, ушедший от семьи в эвакуации) затевали ревнивую войну, мрачно подсчитывая часы, проведённые семьёй Серебренников у каждой из них, причём в баланс, несмотря на протесты враждующей стороны, включался и сон. Семья гостила у матерей примерно месяц, и за этот месяц старухи виделись лишь дважды: на встречных и прощальных чаях, обращаясь друг к другу с ледяной вежливостью: «Что же Вы, мадам Сальковская, не могли пройти пару шагов, чтобы предупредить?» «Я, мадам Серебренник, дралась к Вам на третий этаж дважды, и дважды не заставала, я же не буду за Вами бегать до шестнадцатой станции!» В прощальный момент бабушки доводили семью до трамвайной остановки на Преображенской и возвращались допивать чай уже подругами.

Но мы забежали вперёд.

Знаменский поезд проходил через Фугары в час дня. Отец, одетый для отпуска в вышитую украинскую рубашку с засушенными рукавами и бежеватые полотняные брюки, веселел с каждым километром приближения к Одессе. По проезде Котовска он уже общался с Лёдиком вполне дружелюбно, в Заплазах выбегал на перрон купить раков, которыми это место славилось, мастерски чистил их и оделял семью душистой мякотью, пахшей гнильцой, свежерастёртой крапивой и укро-

пом. Сам запивал раков тёплым пивом, а когда Лёдику стукнуло четырнадцать, налил и ему полстакана, и мальчик, цепенея от гордости, отпил ржавую невкусную жидкость и, пососав клешню, фальшиво восхитился. К Балте они уже с отцом перешучивались. Мать, хотя пиво не пила, раков ела с удовольствием и, теряя строгость, тоже пыталась неумело острить. Когда же к их компании добавилась Сонечка, поездки приобрели особую прелесть, так как Лёдик, на правах взрослого брата, объяснял ребёнку, что такое семафор, почему рак красный и зачем паровоз делает: «Ту-ту».

В Одессу семья приезжала счастливой, и счастье это продолжалось ежедневными поездками на пляжи: ближний Ланжерон, Аркадию или достигаемую катером Лузановку.

Город казался раем. С Нового базара, находящегося рядом с обеими бабушками, доставлялись маслины, брынза, копчёная скумбрия, и всё это запивалось невероятным количеством газированной воды, о которой в Фугарах приходилось только мечтать. Днём акации набрасывали дрожашую кружевную тень на асфальт, по вечерам же искры, выбиваемые трамвайными бигелями, сыпались праздничным фейерверком. Запахи, в которых жарящаяся рыба мешалась со свежей, а ещё и со сладковатым налётом подгнивающих фруктов, уносимым внезапно морским ветерком, крадущимся по Дерibasовской, мягко клубились у стен. Неоновые лампы в тёплом колеблющемся воздухе парили, как ёлочные гирлянды. Девушки, на которых стал заглядываться юный Серебреник, отдаривали взгляды томной вызывающей улыбкой. Ежевечерне семья шла в гости к многочисленным родственникам или друзьям родителей, где Лёдик имел несомненный успех: в раннем детстве наизусть звонко декламируя стихи, подростки — поражая обилием ненужных знаний, вроде того, что в Мазовии одно время было целых два владетельных князя.

Он купался в лучах своей маленькой славы, со страхом ожидая окончания рая. И рай неумолимо заканчивался примерно через неделю после отцовского дня рождения, празднуемого с южным размахом на даче у бабушкиного брата. По пути до-

мой опять покупались раки, но ели их уже без энтузиазма, по-нуро, и к Любашевке отец смотрел сквозь сына, а тот уходил в привычную скорлупу.

В старших классах Фугары обжимали горло, как гланды. Отношения с родителями перешли в глухую взаимную неприязнь. По их мнению юноша очень много времени тратил на чтение и очень мало — на приготовление уроков. Отличные оценки их не удовлетворяли, они подозревали, что учителя ставят их платой за медобслуживание. Лёдика эти подозрения доводили до бешенства — предметы действительно давались ему легко, однажды он просто для удовольствия проштудировал весь курс алгебры до конца года и перерешал весь задачник.

Зимой выпускного года отец однажды обратился к Лёдику: «Послушай, сын, мне нужно с тобой поговорить». Услышав: «Сын», юноша поперхнулся — настолько это было необычно. Оказалось, что отец затеял обсуждение, куда Лёдик хотел бы поступать. А поступать Лёдику хотелось на исторический — книжки сыграли свою роль. Услышав выбор, отец нахмурился: «Я полагаю, ты должен получить настоящую специальность». «А чем это не настоящая?» «Лёдик, при всех наших разногласиях, я считал тебя умным молодым человеком. Неужели ты не понимаешь, что инженер или врач при любой власти инженер или врач, а историк — вряд ли». В рассуждениях была логика, и юноша задумался. Ободрённый отец продолжил: «Я связался со своей двоюродной сестрой Геней, когда-то мы росли вместе, а потом она вышла замуж за ленинградца». «Где росли? — зачем-то спросил Лёдик, будто это имело какое-нибудь значение. — В Одессе?» «Нет, — помедлив, ответил отец, — в Фугарах. Точнее — в Шлемовке, она тогда была отдельным селением». «Как... в Шлемовке? — пролепетал юноша. — Мы, что же... местные... не привозные?» «Выходит, так», — сухо улыбнулся отец. «Абраша Гитерман... Ицик Крейчман...» — «Твой двоюродный дядя. Твой троюродный брат». — «Но как же... почему?...» — «Так получилось».

И монотонно, глядя больше не на Лёдика, а мимо, рассказал, как в голодном тридцать втором на скудный прокорм приехала

из Винницы в Шлемовку сестра убитого зелёными деда — тоже вдова — с семилетней дочерью, и они поселились у Серебренников в хате, как через шесть лет бабушкин брат нашёл ей место в швейной мастерской в Одессе, хату надо было продать, и бабушка попросила родственников выехать, как сестра деда упрашивала бабушку взять с собой подросткую Геню хотя бы на время, но бабушка не согласилась, за что шлемовские очень на неё рассердились.

Лёдик слушал отца как сквозь вату, его то и дело прошибал пот от своей оглушительной низкородности, ужас какой, позор... Он-то относился к себе, как к ссыльному, как к благородному кавалеру, волею жестокой судьбы заброшенному к дикарям, а что вышло? И кто дикарь теперь? Так пьяница не ошибся, он действительно его племянник, этого... вонючего. Родственник! Родная кровь! Горюя о себе, он даже пропустил изрядный кусок рассказа и опомнился только на словах: «Её муж — профессор в Ленинградском механическом институте, обещал тебя устроить туда. Одно условие: ты должен быть медалистом, хотя бы серебряным».

Он стал золотым.

«Золотой Серебренник», — неуклюже пошутил директор школы, вручая ему аттестат и медаль.

II

Сильно ошалевший от первого самостоятельного путешествия, Лёня вышел на перрон Витебского вокзала и сразу же позвонил тёте. Ответил заспанный мужской голос.

— Алло! — запинаясь сказал наш герой — честно говоря, ему впервые в жизни пришлось воспользоваться телефоном. Ну, не совсем так: пару раз в году для разговоров с одесскими бабушками он ходил с родителями на переговорный пункт, где телефонистка втыкала штырьки в гнезда и профессионально гнусавя провозглашала: «Алло, Новопавловка? Разговаривайте с Раздельной!» Когда их почтительно вызывали: «Докторы, вам

уже!», они заходили в кабину, пахшую смесью столярного клея, табака и мебельного лака. Но чтобы вот так самому бросить две копейки, снять трубку и накрутить диск — Лёне до сих пор не приходилось, в связи с чем он пребывал на грани медвежьего недомогания и орал изо всех сил.

— Алло, можно тётю Геню?

— Кого-кого? Какую такую тётю Геню?

— А мне дали этот номер... Тётю Геню Зяблеву.

— Вы, наверное, имеете в виду Евгению Антоновну? — неприязнено произнёс собеседник. — Во-первых, отчего Вы так вопите? А во-вторых, её нет, кто её спрашивает?

— Это её племянник Лёдик, то есть Лёня из Фугар.

— Ах, Лёдик, ну раз Лёдик, тогда другое дело, — в голосе собеседника чувствовалась отчётливая язвительность, — тогда, конечно, раз Лёдик, тогда можно звонить в половине шестого утра. А что Вам нужно, Лёдик из Фугар?

— Понимаете, — путано стал объяснять юноша, — мне отец сказал, что её муж профессор Зяблев...

— Я знаю фамилию её мужа, я — её муж.

— Правда? — обрадовался Лёня. — Тогда это Вы должны помочь мне поступить в механический институт!

— Скажите, молодой человек, у Вас в этих самых Фугарах все такие сумасшедшие? Я никому ничего не должен! Поезжайте на улицу Первую Красноармейскую, дом один в приёмную комиссию, сдайте документы, получите направление на экзамены и в общежитие и сдавайте экзамены. Да, Вы медалист?

— Золотой! — гордо отрапортовал юный Серебреник.

— Разбрасывается Родина золотом... На письменной математике ответ на четвёртый вопрос у Вас должен стоять первым, на второй — третьим, а на первый — на втором. Запомнили? До свидания.

— При чём тут: «До свидания»? — всполошился Лёдик. — Стойте сюда! Мне нужно вас увидеть.

— Зачем это?

— А варенье отдать. Мама для вас наварила.

— Какое ещё варенье?

— Так вишнёвое же — три литра, потом абрикосовое с орехами в меду — тоже три литра и ещё малиновое. Только малинового маленький слойк — не уродилась ягода.

— Плохо, что не уродилась, — сообщил повеселевший голос, — улица Декабристов 24, квартира 18.

Зяблев на профессоров, как их представлял юноша, не походил: был, правда, сед, но не благородно — волосы лежали кучковато, сам присядистый и широкий в кости, лицо умеренно красное. В комнаты Лёдика он сперва не пустил — оставил в коридоре, забрав рогожную кошёлку, и уж потом из кухни спросил:

— Вы хотите отсюда на транспорте в институт поехать или пешком? Здесь не так уж далеко — всего пара километров. Правда, у Вас — чемодан...

— Да он не тяжёлый, а два километра близко, только скажите, кудую мне идти?

Из кухни послышался сдавленный кашель. Потом появился Зяблев с ещё более покрасневшим лицом: «Давайте пройдем в кабинет, я там Вам запишу... кудую...»

В кабинете меж двух книжных шкафов висела картина. Необычная картина была: безголовый официант обслуживал посетителей. А голова лежала на одном из столов. Все фигуры были очень угловатые.

— Это Давид Бурлюк, — объяснил профессор. — «В трактире».

— Бурлюк был поэт, — продемонстрировал юноша образованность.

— Он вроде бы ещё и есть, только поэт он хреновенький, а художник — получше, хотя тоже до Брака далековато.

Про брак Лёня ничего не понял, поэтому промолчал.

— Ладно, — сказал Зяблев, — давайте-ка я Вас кофе напою, а то не по-человечески как-то.

Они пошли на кухню. Хозяин с громким треском размолот кофе и пересыпал его в странный алюминиевый сосуд, сужающийся кверху. В Фугарах мама варила кофе, засыпая в кастрюльку из картонной коробки с надписью «Кава з цикориєм» и заливая молоком. Хозяин же залил водой. И это было странно.

— Вам с сахаром?

— Да, и с молоком, пожалуйста.

— Молодой человек, кофе с молоком пьют только беременные фэзэушницы, мужчина пьёт кофе на воде. Можно — с сахаром.

Выпив кофе с двумя печенушками, Лёня распрощался, испытывая глубокую, но, кажется, безответную симпатию к новоприобретённому родственнику.

Механический институт, куда приняли Лёню, несмотря на затёртое название, оказался суперэлитным: до хрущёвской реформы он назывался Военмехом и готовил кадры для обороны. Потом милитаристский префикс из названия изъяли, добавили гражданские специальности с пониженными стипендиями, но дух суховатой изысканности, причастности, остался. Серебреника, конечно, с его неправильным происхождением и на километр не подпустили к спецгруппам, но особость pokrыла привлекательным флёром и его, студента факультета «Е» со специализацией в технологии машиностроения — так было записано в зачётке.

Город ошеломил деревенщину. Не красотой, хотя и красотой, не величием, хотя и величием тоже.

Ненормальностью.

Что-то в нём было неестественное, но что именно, Леонид, становящийся потихоньку из Лёдика Лёшей, не мог сформулировать. Кроме Одессы, он был и в Киеве, и во Львове, и даже в столице провёл с экскурсией райздравотдела целых два дня. Эти города были красивы, интересны и — понятны. Одесса перезванивалась с морем, Львов походил на коробку конфет, Москва напоминала бабушкин сервант. Ленинград же не приклеивался ни к чему. Он был сам по себе: чужой погодой, чужой ландшафту, чужой желтоватому свету, рассеивающемуся на мелких каплях. Только позже, проехав всю страну от барочного Тбилиси до барачного Мурманска, а потом поездив и по границам, Серебренник, как ему казалось, понял причину: город строился южными архитекторами — итальянцами и француза-

ми, для которых высокий солнечный свет был нормой, а здесь он сменился угловатым, наискосочным, который, расположив неожиданные тени, придал дворцам inferнальную, пугающую красоту.

Хотя, может, и не так. Кто знает... Город-то был чужим, и родным так и не стал.

Обнаружив, что без труда может учиться на твёрдую четвёрку, обеспечивающую стипендию, Лёша так и учился. Без труда. Пропадал в музеях, догоняя пропущенное. Очень скоро обнаружил, что посетители интересуют его куда больше, чем картины. Ему нравилось всматриваться в лица, отмечать походку, следить за глазами. Испугавшись своей нечувствительности к высокому искусству, он однажды мысленно поместил понравившуюся грудастенькую экскурсантку в «Юдифь» Джорджоне и счастливо засмеялся, когда обе дамы принялись играть в футбол головой Олоферна. С тех пор картины ожили, и отношение к художникам выросло из комфорта, который чувствовал случайный командировочный, вставленный волею Леонида в картину «Меценат представляет императору Августу свободные искусства» и спихивающий Октавиана с трона. Осмелев, он стал и сам вступать в картины и располагаться там. Залез в скучное полотно Журавлёва «Перед венцом» и ущипнул плачущую невесту за попу, а потом долго потешался над тем, как она ошалело водила головой по сторонам, забыв даже о слезах. Раздевшись, с удовольствием потанцевал в Матиссе. А вот в Рафаэле ему не показалось: отвращали сладенькие голоса, наперебой уговаривающие насладиться мгновением.

С филармонией было сложнее. Заработав немного денег в винном магазине, где штатный грузчик, упившись из боя, сломал ногу, а студента взяли взамен как безопасного в смысле возможных претензий на будущее, юноша купил абонемент на цикл «Шедевры мировой музыки». До того, изю всех богатств музыкальной классики Леонид знал только жмура, вразнобой исполняемого духовым оркестром колхозного ДК на похоронах. «ТУ-104 — лучший в мире самолёт...» — выводил в уме, едва слышав знакомую мелодию, и эти народные сло-

ва как-то скрашивали печальную церемонию. На концертах он откровенно скучал, полагая лекторов выпендрёжниками, а Бетховену предпочитая Пахмутову. Но однажды, тоскливо внимая «Франческе да Римини» Чайковского, вдруг явственно услышал: «Опустела без тебя Земля» любимой Александры Николаевны. Не поверив ушам, Лёня удивился звуковой галлюцинации, но на его счастье Пётр Ильич повторил мелодию несколько раз, чем вверг душу в ехидное смущение. С тех пор слушал Серебреник музыку с жадностью охотника, вылавливая знакомые сочетания звуков.

Вот так, борясь с культурными шоками, текла студенческая жизнь. Протекала — точнее будет. Через все дыры.

По вечерам усердные студенты играли в преферанс по четверти копейки за вист, утром же разномастная толпа с угрожающим топотом наполняла аудитории, обмениваясь боцманскими шутками, потирая приблизительно выбритые подбородки и икая после завтрака в студенческой столовой. Конечно, эта фраза относится лишь к мужчинам — девушки были божественны, но, увы, малочисленны. До, скажем прямо, статистической погрешности. Женский пол предпочитал университетский филфак, который, вместе с московским, тартуским и воронежским, образовывал золотой квадрат отечественной словесности, или же ЛГИТМИК, свысока взиравший на всякие Щуки и Щепки, а также Медин и Сангиг, но вот в Военмех их не сильно тянуло. В общежитии не было горячей воды. Был ли это принцип или же народный обычай, неизвестно, но даже после капитального ремонта там предусмотрели прачечную с сушилкой, а душ — нет. Баня на Егорова давала телу отдохновенную чистоту дня на два, а дальше гигиена побеждалась гормонами, но кто же на это обращал внимание? Учитывая ещё, что курили прямо в комнатах, и курили не «Парламент» и не «Мальборо», а в лучшем случае «Пегас», массово же — «Приму», то запахи стояли не парфюмерные.

Очень хотелось кушать. Так сильно, что желание есть перерастало в страсть жрать. Пирожковая на Невском, шашлычная

на Троицком — эти местные отделения мильтоновского «Обрётённого рая» — за десять дней до стипендии становились запретными территориями, отгоняющими шваль злобным лаем кассовых аппаратов. Измождённые голодом, перебиваемым лишь случайной коркой хлеба, жители комнаты 312 валились на койки, и мрачный сибиряк Костя Пельцов просил плачуще: «Лёшка, давай Багрицкого. Хоть знать, что не мы одни...»

И Лёшка давал: «Швея! Отвечай мне, что может / Сравнить-ся с дорогой твоей?.. / И хлеб ежедневно дороже, / И голод постылый тревожит, / Гниёт одинокое ложе / Под стужей осенних дождей.» Несколько преувеличенно, но в принципе...

В ноябре полегчало — Пельцов сломал ногу, ему в санчасти замотали её в гипсовую повязку и выдали бесплатные костыли. Они с Лёней ковыляли до ближайшей троллейбусной остановки, где Серебренник с подвыванием читал «Песню о рубашке», перебивая сам себя гнусавой просьбой: «Подайте, граждане, поломанному студенту на новую ногу!» Граждане улыбались и довольно часто подавали. Но... при молодом теле нога зажила удивительно быстро, костыли отобрали, и томление желудка набросилось с новой силой.

В конце декабря, подавленно роясь в вещах в беспочвенной надежде найти хотя бы копеек двадцать, Леонид обнаружил бумажку с телефоном Зяблевых. Живое воображение юноши рисовало приглашение на родственный ужин, а может даже и пятёрку как бы силком всовываемую на дорожку. Взяв в тумбочке вечную двушку (через просверлённую в центре дырочку была продета леска; великое же умение заключалось в том, что, опустив монету, нужно было выдернуть её за леску, едва звучал щелчок, иначе через секунду срабатывала защёлка, монетку уже не отпускающая; само умение достигалось длительными тренировками с пропажей втуне десятков двушек, но оборачивалось выгодой, да ещё и доставляло какой-то белогвардейский кайф), Лёня спустился в вестибюль к автомату и лихо выдернул монету в тот самый момент, когда женский голос лишь начал телефонное приветствие: «Аллё». «Здравствуйте, — тихо сказал уже обученный Серебренник, — будьте

любезны, позовите, пожалуйста, к телефону Евгению Антонову». «Слушаю...» «Евгения Антоновна, это Ваш племянник Леонид Серебреник», — мягко, с теплотой, подстёгиваемой жжением в желудке, произнёс звонящий. «Слушаю Вас, Леонид, — сухо отозвалась тётя — зачем Вы звоните?» Ещё не понимая, что затея сплела лапти, Лёня тем же сладким голосом продолжил: «Просто хотел поздравить Вас с наступающим Новым Годом. Я подумал, что вдруг Вы уедете и я не смогу это сделать вовремя!» «Спасибо, — так же сухо ответила Евгения Антоновна, — впредь не утруждайтесь», — и повесила трубку. «Вот сука!» — выругался Леонид, да с таким чувством, что и голод стал мягче.

Сессию, к собственному удивлению, сдал с одной четвёркой. И полетел домой, где его встретили, будто он отлучался на час: с приветственным поцелуем Сонечки и без видимой радости со стороны родителей. Хотя, можно допустить, что в воспитательных целях они эту радость умело скрывали. На второй вечер каникулярного пребывания Лёня пошёл в колхозный клуб на танцы, где его отметили буквально в течение первого же часа. Отметили порядочно, дав ко всему кастетом по башке, хорошо, что шапка смягчила удар. По мнению эмоциональной фугарской молодёжи, Серебреник совершил сразу несколько преступлений против человечества. Во-первых, пригласил танцевать девушку срочслужашщего без разрешения смотрящих за ней друзей солдата. Во-вторых, пригласил её танцевать второй раз без перерыва, что по колхозному этикету означало серьёзные намерения. В-третьих, танцует под мелодию песни «Гаснут огни, засыпает Москва», посмел опустить правую ладонь на пять сантиметров ниже дозволенной приличиями линии. Короче, вёл себя разнузданно, за что и поплатился. Прикладывая снег к стремительно нарастающей шишке, слегка отвыкший от кунштюков малой родины, студент злобно думал, что ноги его больше не будет в этом поганом месте, где ни он никому не нужен, ни ему не нужен никто.

По весне Лёня записался в стройотряд. На романтику ему было начихать, деньги зарабатывались и в Питере, но нужна

была отмазка, чтобы не ехать на долгие летние каникулы в Фугары. Родителям было послано лживое объясняющее письмо, на которое был получен одобрительный ответ.

Студентов Военмеха, соединив с отрядами Ленинградского Сангига и Рижского Института Инженеров гражданской авиации, повезли достраивать железную дорогу «Астрахань–Гурьев» — она уже была вчерне уложена по первому слою в прошлом году, и надо было укладывать по второму. Палатки поставили на берегу реки Урал, которую в июле можно было в том месте не переплывать, а переходить. Распорядок был суров. Подъём в пять утра, плотный завтрак, в шесть начиналась работа. Парни подвешивали просевшие шпалы, напрягались со шпалоподбойками, загоняя под шпалы щебень, и вбивали вылетевшие костыли. Девушки были на лёгкой работе: вилами подбрасывали щебень к подбойкам. Работали до полудня, затем тепловоз привозил обед, и оставался до четырёх часов, чтобы дать тень, в которой народ с радостью дрых. С четырёх до семи работа продолжалась, но после сна двигалась довольно вяло. В семь часов — домой. Ужин — и можно лечь спать, но таких смельчаков не находилось: преждевременно уснувшему могли помазать под носом нашатырным спиртом, вынести спящего и уложить возле отхожей будочки. Однажды Лёня завёл в палатку приبلудного осла и привязал его к изголовью койки спящего однопалатника. А затем зверски ткнул осла гвоздём.

Нормальный народ гулял. Купался в реке, нарушал уголовный кодекс, волоча невод на осетра. Осетры, кто не знает, по природе — идиоты: пока морда в воде, они не реагируют ни на что, из мотни их вытаскивают за хвост, стараясь перетащить на берег как можно большую часть тулова, а потом, когда в воде остаётся только голова, рывком забрасывают подальше на сушу. Там осётр начинает бешено колотить хвостом, и не дай Бог под этот хвост попасть. Шашлык из свежей осетрины был нежен, а уха и более того, и под эти изысканные яства организм с радостью принимал привезённую втихаря завхозом бутылочку «Московской». Сангиговские подружки, надо сказать, уморившись ростом мускулов на свежем воздухе, от мужско-

го пола не отставали и веселились вокруг костра, не отвергая и последующих предложений. Какой тут сон — резвились от Веспера до Фосфора.

С целины Леонид возвратился с пятьюстами заработанными рублями и наработанным опытом межполовых отношений. Но — самое главное! — с памятью о ночи.

Эта ночь... Знаете ли вы казахскую степную ночь? О, вы не знаете казахской степной ночи! Если бы Николай Васильевич не предал родную мову ради москальской славы и разделил судьбу Тараса Григорьевича, который солдатствовал как раз неподалёку от этих мест, то он позабыл бы об украинской ночи, подавленный величием степного сверкающего мрака. Что там у него было? «Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий». Как же... Звёзды в казахской степи светят остро. Серебра в этом свете нет вовсе — давящ он и мертвен. Окаймляющий звёзды небосвод, вопреки расхожему сравнению, не бархатен — похож на антрацит и чернота его несёт морозный отпечаток близкой звезды. Бельмастый глаз высокой луны, скатываясь к горизонту, набухает гнилой сукровицей и, угрожающе нависая над степью, кажется, вот-вот рухнет на неё. Такую луну месяцем не назовёшь, какой там «ножик из кармана» — космическая катастрофа подпирает дыхание. Добавьте к этому вой шакалов, рёв ослов в селении неподалёку и непрерывную комариную симфонию, сводящую с ума — получите картинку.

А Ленинград встретил нудным дождиком, и вечернее небо, как бы это сказать, отсутствовало, скрытое мокрой марлей и размазанным светом фонарей. Этот контраст поразил Лёню настолько, что его захотелось описать. В прачечной общезития, пристроив на подоконник блокнот, Серебреник вывел: «Ноч...», а затем был оторван от письма вошедшим приятелем, позвавшим выпить пива.

Зимняя сессия принесла неприятный сюрприз. Экзамен по теории механизмов и деталей машин (ТММ — «Тут Моя Могила» — по студенческой расшифровке), кроме лектора, прини-

мал и заведующий кафедрой профессор Зяблев. Попав к нему и резво ответив на билетные вопросы, Серебреник решил напомнить о себе, мол не чужие, Зяблев поначалу не вспомнил, но после подсказки о варенье непонятно улыбнулся: «А... родственничек...» — и дал такую задачку с расчётом эвольвентной передачи, что Лёня еле за полтора часа выпотел троечку. Единственную. Хорошо, что для стипендии можно было две. Отношением дяди — он же дядя! — студент был возмущён. «Ну и семейка! — думал он мрачно, сидя в шашлычной, где их комната отмечала сдачу. — Тётка — сука, дядя — скот, кухня, небось, тоже говно порядочное».

III

Открутиться было нечем, и он на зимние каникулы поехал домой. Привёз подарки: сестричке — платице из комиссионки, отцу — серебряный подстаканник, матери — набивной нейлоновый халат. И был потрясён, увидев в глазах матери слёзы — впервые в жизни увидел. Отец тоже как-то странно сморщился, принимая подарок, и лишь сестричка восприняла как должное. Да и что возьмёшь с юной кокетки? За полным отсутствием дел Лёня вновь принялся за письмо. Ему захотелось описать Ленинград, но в декорациях Казахстана, так, чтобы не размытый свет стекал по стенам, а яркое солнце чеканило тени на лицах прохожих. О сюжете он как-то и не подумал, замороженный самой возможностью выбаюкивать тропы. И лишь написав три с хвостом страницы (крупным почерком), обнаружил, что запутался и понятия не имеет, а что, собственно, описывает. Случаи из жизни отражать не хотелось, скукота какая-то, вот он и придумал, что на Дворцовую площадь сел звездолёт. Дальше он свалил в кучу Ефремова, Стругацких и даже Снегова, и выплыл на том, что инопланетяне утащили Александрийский столп, потому что были ангелами. Ну, вот так вот, простенько...

Вернувшись в Ленинград, Серебреник ещё пооблизал рукопись месяцев пять и снёс в только открывшийся журнал «Авро-



**КОДА: ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ**

АННОТАЦИЯ

В данном полевом определителе указаны основные диагностические признаки ашкеназов, краткое систематическое описание их видов (внешний вид, особенности поведения, голос и т.д.). Текст даёт возможность определить конкретный вид ашкеназа в полевых условиях без добывания и даже седукции еврея.

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В последнее время наука достигла впечатляющих результатов в решении следующих проблем: как отличить ашкеназа от сефарда, как отличить ашкеназа от горного пейзажа, как отличить ашкеназа от отглагольного существительного и т.д. Целью настоящей работы является обучение читателя как отличить ашкеназа от другого ашкеназа. Вооружённый изложенными знаниями, читатель, даже при беглом общении, сможет отнести анализируемого представителя ашкеназского субэтноса к одному из субсубэтносов и выстроить своё поведение в соответствии. Правильное отнесение ашкеназа к своей группе тем более важно, что ошибка в классификации, выраженная громко, может привести вольнопасущегося ашкеназа в непрогнозируемое состояние.

В дальнейшем термин «ашкеназ(ский)» будет, в соответствии с народной традицией, обрезан до «аш» / «аши» во множественном числе.

Украинские аши — жлобы и гайдамаки. Кашрут для украинского еврея — не закусывать молоко салом. Хотя бы по утрам. Любит борщ из свинины и песню «А идише маме», которую заводит после третьей. Слов не знает, поэтому скорбно мычит, закатывая глаза. После четвёртой с облегчением переходит на «Ридна маты моя». Особой группой украинских ашей являются одесские евреи, которые так настойчиво любят жизнь, что

та регулярно от них беременеет. Также отличаются от прочих киевские, про которых была выдвинута версия, что это именно они распяли Христа. Версия была длительное время популярной, но не получила документального подтверждения и тихо умерла (на кресте).

Румынские аши отличаются профессионально печальным взглядом и вдумчивым приложением Закона Сохранения Ломоносова-Лавуазье, который в их интерпретации звучит как: «Если у кого-то что-то отнимется, то у меня прибавится». Не зря про них говорят: «Поздоровался с румыном — пересчитай пальцы». Любят играть на скрипке «А идише маме», фальшивя на каждой второй ноте.

Молдавские аши считают себя неотъемлемой частью румынских евреев, что наукой не подтверждается. На самом деле происходят от отбившейся чашечки потерянного колена Израилева, вышедшего на берега реки Днестр. Оглянувшись вокруг и увидев вместо злобных арабов мирно пасущихся молдаван, кто-то из них радостно воскликнул: «Это таки настоящая Безарабия». С тех пор название Бесарабия («З» поменялось на «С» согласно правилам гагаузского наречия позднего иврита). Освоившись, евреи быстро основали город «Киш-ин-ёв» название которого выражает презрение к попыткам молдаван захватить или хотя бы прописаться в нём (слово «Ёв» предположительно означает то место, которое предполагается). «А идише маме» поют, звеня бубном.

Польские аши — пижоны и фраера. Польский еврей — это украинский еврей, который думает, что он французский. Народным промыслом польских евреев является генерация пятого туза в карточной игре, сопровождающаяся радостным удивлением, которому обучаются на специальных курсах. «А идише маме» поют в ритме канкана, подмигивая ближайшей даме любого пола.

Венгерские аши абсолютно уверены, что лучше всех решат любой вопрос, поскольку талантливее и умнее других народов. Пытаются при этом сослаться на Джорджа Сороса, Милтона Фридмана, Джорджа Кёмени и других. Контрвозражения

в виде имён Айзека Ньютона, Дмитрия Менделеева встречаются крайним раздражением. В состоянии раздражения опасны, могут укусить.

Немецкие аши глубоко уверены, что образование передаётся исключительно половым путём. Поэтому правнук закончившего курсы делопроизводителей в г. Гейдельберге с презрением смотрит на выпускника Гарварда, Сорбонны и Физтеха, у которых не было такого замечательного урггроссфатера. «А идише маме» немецкий еврей поёт в интерпретации «Die deutsche Mutter nach dem mosaischen Gesetz», маршируя и плача. Плача и маршируя.

Литовские аши были рассеяны по территории нынешних Литвы, Белоруссии и Латвии. Среди прочих евреев известны под топонимом «литваки», что позволяет им считать польско-литовского князя Ягеллу «нашим мальчиком» и относить победу в Грюнвальде на свой счёт. На ошарашенный вопрос, откуда такие фантазии, они отвечают: «Иврит надо учить! Яг-эль на нашем языке: «Пусть возрадуется!» Вот он стал князем, а потом и королём, и чего ж тут не радоваться? О!»

Малые ашские Народы Севера. К ним относятся датские, шведские, норвежские, финские, эстонские, ирландские, чья численность не превышает 5000 человек, а также невыевленные ещё пытливыми исследователями потомки евреев, количество которых зависит от фантазии автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автор понимает, что представленный труд являет собою только начало возможного направления в ашкеноведении. Ждут своего описания московские, ленинградские и парижские аши, давно выделившиеся в собственную группу, презрительно относящуюся к другим, и т.д. Но нельзя, как известно, объять одесскую ашку и прочие необъятные субстанции, поэтому автор надеется, что направление, порождённое им, займёт подобающее место в авуарах.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ	
Гербарий	11
Сахарница	155
Постоялый дворец	181
Ой	191
МЕМУАРЫ И ЗАМЕТКИ	
Жили-были три китайца	195
Послеполуденный отдых фавнов	203
Жизнь в Венеции (Из странных дальствий возвратясь)	210
Содержание в форме (опыт мемуаров)	222
КОДА: ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ	239

Юлий Петрович Герцман (1948–2017),

по его собственным словам, всегда считал себя
страдающим творческой шизофренией.

С одной стороны — работал экономистом и публиковал
работы по экономической эффективности новой техники.

С другой стороны — всю жизнь пытался шутить, и даже
свою первую работу по экономике, написанную
в соавторстве и под псевдонимом Братья Тривзоровы,
напечатал на 16-й полосе Литгазеты.

Стал чемпионом СССР по КВН в 1969 году, выступая
в составе команды Рижского института
инженеров гражданской авиации.

Автор двух сборников юмористических рассказов:
«Подставьте, пожалуйста, кумпол» (Таллин, 1989)
и «Повесть о несостоящем человеке» (Москва, 2013).



ISBN 978-1-940220-82-6



9 781940 220826

M-GRAPHICS PUBLISHING

www.mgraphics-publishing.com
info@mgraphics-publishing.com